

Александр Мусин

Рец. на: P. Gonneau, A. Lavrov. Des Rhôs à la Russie: Histoire de l'Europe orientale, v. 730–1689. Paris: PUF (Nouvelle Clio), 2012, 687 p.*

Alexandr Musin

(Institute of the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences)

Rec. ad op.: P. Gonneau, A. Lavrov. Des Rhôs à la Russie: Histoire de l'Europe orientale, v. 730–1689. Paris: PUF (Nouvelle Clio), 2012, 687 p.

Новая книга на французском языке по истории средневековой Руси – России, представляющая собой университетский учебник, казалось бы, обречена на равнодушие российских коллег. Однако её содержание существенно выходит за рамки задуманного учебника, как и за пределы собственно отечественной истории. Речь в этом труде идёт фактически о Восточной Европе VIII–XVII вв. Его название «От русов к России» не столько апеллирует к известному слогану «От Руси к России», сколько предлагает собственное видение нашего прошлого, что может быть интересно не только франкофону.

Авторы книги – представители разных научных школ. Эти два пера хорошо различимы на всём её пространстве как по манере изложения и историографическим предпочтениям, так и по встречающемуся иногда повествованию от первого лица. Одно перо принадлежит Пьеру Гонно, профессору университета «Париж IV – Сорбонна» и Практической школы высших исследований, другое – Александру Лаврову, на момент написания учебника профессору университета «Париж VIII – Венсан – Сен-Дени». Первый – ученик Владимира Водова, состоявшийся на берегах Сены, второй – Руслана Скрынникова, выросший на берегах Невы. Оба автора – специалисты по позднему средневековью, но по разным периодам, что позволяет им дополнять друг друга, но и накладывает определённые ограни-

чения на результат совместного труда. В итоге ранние сюжеты изложены в работе не столь исчерпывающе, как события позднего средневековья, темы археологии представлены более спорно, чем исторические, а социокультурной проблематике, на мой взгляд, уделено больше внимания, нежели церковно-историческим событиям, изложенным, тем не менее, с необходимой хронологической полнотой.

Авторы, стремясь к сбалансированному изложению, поместили нас в среду исторической мысли, сотканную зачастую из противоречивых оценок и взглядов. Это не только расширяет кругозор читателей (для отечественных – за счёт малоизвестных в России исследований), но и позволяет им осознанно присоединиться к той или иной позиции. неизбежная в данном случае «историографичность» работы является важной частью метода авторов, что, впрочем, не всегда позволяет отчётливо расслышать их собственный голос. Однако книга, несомненно, удалась: и по хронологической широте, и по полноте охвата фактологического материала, и по глубине понимания проблем. Самое же главное – над её страницами начинаешь размышлять.

Уже структура работы оказывается немаловажной в авторском замысле. Книга предваряется внушительным списком изданий источников (467 позиций, р. 11–31) и литературы (894 позиции, р. 31–66), незначительные лакуны которого объясня-

* Гонно П., Лавров А. От русов к России: история Восточной Европы, 730–1689. Париж: Изд-во PUF, 2012. 687 с.

ются преимущественно новейшими публикациями. Это – своеобразное введение в сложность русской истории. Основная же часть состоит из двух больших разделов «Факты» и «Проблемы», каждый из которых образован шестью главами. Одна из них – вопросы терминологии. Так, привычное *Rus'*, подчеркивающее разницу между историей и современностью, заменено латинизированным, хотя и имеющим основания в источниках, *Russia*. Авторы специально оговорились, что рамки такого понятия значительно шире, чем «средневековая» часть современной России. Однако аллюзии, позволяющие не только различать, но и сопоставлять эти названия, как и в случае с *France* и *Francia*, очевидны. Другой термин, *Haute-Empire russe*, транслирует на русскую судьбу периодизацию истории Египта или Римской империи. Согласно авторской логике *Moyen-Empire* приходится на 1613–1721 гг., а *Bas-Empire* – на 1721–1917 гг. Для обозначения дореволюционного периода появляется термин *Ancien Régime*, взятый из французской историографии. На страницах книги присутствует и непростой поиск французских эквивалентов для передачи русских средневековых реалий (р. 200–201, 420–422 и др.). Так, посадника в Новгороде авторы предпочли называть *prévôt* вместо ставших уже привычными *échevin* или *bourgmestre*.

Сегодня трудно сказать, приживутся ли эти новшества, но они пробуждают дополнительные сравнения российской и европейской истории. Однако авторы предельно корректны и о возможных параллелях повествуют в контексте оппозиции взглядов отечественной историографии на социально-политическое устройство Руси, то считавшей его «самобытным», то сближавшей с *société d'ordres* через концепции сословной, а позднее и сословно-представительской монархии. Отмечена и идейная неоднородность сторонников концепции «русского феодализма», способных как вдохновляться соображениями о «прогрессивности» древнерусских институтов, так и быть «тайными диссидентами», стремившимися подчеркнуть единство политической культуры России и Европы (р. 310–311). Однако наша страна никогда не знала ни римского права,

ни публичной системы налогообложения (р. 398–401). Похоже, здесь не был известен и свободный аллод и, до некоторого времени, крупная наследственная собственность. Следовательно, отсутствовал вернейший признак феодального строя – эрозия публичной власти и её усвоение феодалами. Впрочем, авторы не стремились найти феодализм на Руси, как это модно теперь и в изучении средневековой *Франкии*. Подчеркивая близость исторических процессов в России и в Швеции, они в то же время называли в качестве некой параллели Польшу, не забывая и о существенных различиях.

Но главное для авторов – не теории, а факты и проблемы. Обратимся к «Фактам». Первая глава раздела – «Киевская Русь: эпоха становления (730–980)» (р. 71–121) с географическим и этнографическим введением. Этот период имеет внутреннюю, несколько неоднородную, периодизацию: 730/750–839 гг. – время дирижема; 839–945 гг. – рост могущества русов; 945–980 гг. – рождение династии. Сложность эпохи предполагает активное привлечение археологических знаний и разноречивых мнений, среди которых встречаются и экстравагантные, не прошедшие проверку дискуссией. В их числе, например, подробная «археологическая хронология» Старой Ладogi (р. 97–98) и Северной Руси (не похоже, чтобы Городище под Новгородом было оставлено около 950 г.; ср. р. 195); «русский каганат», выводимый из несистемных упоминаний никак не локализуемого «кагана»; не всегда обоснованные варианты «перекройки» дат начальной летописи. В итоге авторы вслед за англосаксонской историографией рассматривают русов как «норманнов», идентифицировавших себя со «шведами» (р. 103).

Перелистаем несколько страниц назад. Ещё в начале книги отмечено обилие в истории похожих слов, чей смысл меняется в зависимости от времени и источника (р. 3). «Русь» – одно из них. Археологические данные, к которым апеллировали авторы, свидетельствуют о существенных трансформациях скандинавов в Восточной Европе. В результате появились собственно русы, чей этносоциальный полисемизм прочитывается в

современных событиям письменных источников. Это самоназвание, имеющее северное происхождение в VIII–IX вв., как и элементы скандинавского ономастикона и материальной культуры Руси X в., говорит о сложных процессах аккумуляции норманнов, уже клявшихся Перуном, в восточнославянской среде. Её история не сводится к «славянизации» правящей династии и начинается значительно раньше и 970-х гг., и 945 г. (ср. р. 376).

Следующая глава «Киевская Русь: экспансия (980–1246)» (р. 123–168) выявляет в развитии Восточной Европы три этапа: фактическая монархия (980–1054); первые разделения, характеризующиеся как время относительной стабильности, где триумвират сменялся дуумвиратом, а затем лидерством Мономахова дома, пусть и оспариваемым (1054–1136/1146); раздробленность, принесящая с собой не упадок, а расцвет местных обществ (1146–1246). В качестве знаковых процессов указаны соперничество потомков Мономаха (1146–1167) и противостояние княжеских домов Смоленска и Чернигова (1202–1212), завершившееся кратким периодом неожиданной стабильности (1212–1237/1240). Здесь же рассмотрены контакты со Степью, в результате которых кочевники начали замещать греков в качестве главных контрагентов Руси (р. 158–167). Несмотря на ущерб, нанесенный столицам «Русьской» земли монгольским нашествием, авторы не согласны с позднесредневековым мифом об «исходе» местного населения в Залесские земли. События XIII в. лишь выявили уже существовавшие границы между Южной Русью и будущей Москвой, а не создали их (р. 168).

В следующей главе «Новгородская Русь: княжество или город-государство? (970–1478)» (р. 169–220) авторы не ставили вопрос о соотношении Новгородской земли с собственно *Russia*, отвергли возможность увидеть здесь «город-государство» из-за огромности территории и, как кажется, усомнились в определении местной формы правления как «республиканской». Князь в эпоху средневековья был носителем суверенитета, что придавало любой политике монархический оттенок. В главе сделан внешне парадоксальный вывод об отсутствии радикального анта-

гонизма между Новгородом и Москвой в силу близости политической ментальности, основанной на понятии «воля». Однако, по нашему разумению, отличительные черты новгородской истории заставляют признать, что местная община ощущала себя хранителем составной части этого суверенитета. Авторы назвали такие особенности «контрактным режимом», который начал формироваться в условиях так и не сложившейся собственной династии, что составляет первый период истории Новгорода (970–1064). Специфику социально-политического устройства Новгорода и Пскова (ему посвящён самостоятельный раздел, р. 208–219) определяли не только интриги внутри династии Рюриковичей и позиция киевского князя, но также динамизм населения, открытого европейскому миру, что обуславливало его исключительность, несмотря на «глубоко русский характер» (р. 220).

Дальнейшая новгородская хронология традиционна: 1064–1136 гг. – эпоха подчинения новгородского князя киевскому, названного термином «вассалитет»; 1136–1196 гг. – доминирование потомков Мстислава Владимировича, соперничество Суздаля и Чернигова, дистанцирование Новгорода от Киева; 1196–1265 гг. – усиление Владимиро-Суздальского дома; 1265–1456 гг. – апогей свободы при расцвете «контрактного режима», приглашении князей-кормленщиков; наконец, 1456–1478 гг. – закат. Нескольким страниц уделено местным политическим образованиям, избранию магистратов и иерархов; вече охарактеризовано по Ю. Гранбергу. При описании городской топографии удивляет упоминание «Знаменского конца» как другого именованного Славно (р. 195), не встречающегося в средневековых источниках. В конце главы авторы задались вопросом о существовании «новгородской модели» в истории и обратили внимание на Балтийском мире Новгорода, Пскова, стоящей за ними Московии, с одной стороны, и Ливонии с западным миром – с другой. Такая модель имела параллели в Европе: пограничные Савойя и Милан со стоящими за ними королевствами Франции, Испании и сама Священная Империя (р. 220).

Глава «Северо-Восточная Русь: начала Московии. Между монгольским господством и литовской экспансией (1246–1533)» (р. 221–263) посвящена формированию *Moscovie* в северо-восточной части *Russia* на протяжении XIV–XV вв. Московская Русь сложилась вокруг титула «великий князь», который авторы вслед за В. Водовым приписывают князю Всеволоду Большое Гнездо. Властные полномочия в Москве распределялись между князем и рядом знатных семей, которые, однако, не претендовали на тот же статус, что аристократия в Европе. Московская идентичность была унаследована от Руси и предполагала сочетание политического подданства и конфессиональной принадлежности. К началу XVI в. Русь одновременно была Церковью без патриарха и Царством без царя, а в управлении ею участвовала знать без титулов. Такая ситуация бросала вызов последующим правителям (р. 263). В главе речь идет также о судьбах Галицко-Волынской земли и Литовского княжества – *Ruthenia* – как наследников *Russia* (р. 255–263). Обращает на себя внимание небольшой раздел (с. 246–254) о русско-татарском симбиозе, что предполагает отрицающее «русское азиатство» (ср. р. 585–586) взаимопроникновение двух миров, по сути замещающее концепцию «монголо-татарского ига».

В главе ««Ранняя Русская империя»: становление, экспансия и кризис (1533–1613)» (р. 256–307) обсуждается характер русского абсолютизма. Однако для авторов это еще и эпоха востребованного наследства (киевского, византийского, монгольского), а также формирования претензий на Балтику и Сибирь. Одним из лейтмотивов данного периода можно считать династические кризисы, с которыми увязана тема самозванства. Указано на роль церковных и земских соборов в единении страны, но с оговоркой: именно царь определял их порядок и состав. Важной в книге стала тема формирования центрального управления на основе приказной системы. Реформы 1530–1550-х гг., несмотря на получение местными элитами автономии, лишь усилили контроль центральной власти на местах и упорядочили госслужбу в провинции. В историографической «полифонии» не слышно

упоминаний о трудах Н.Е. Носова, рассматривающего реформы как «восстановление старины». В оценке опричного террора авторы увидели скорее стремление к управляемости государством, нежели признание поражения курса реформ. Введение крепостного права они оценили как неизбежный компромисс с дворянством, а освоение окраин – как реакцию на централизацию.

Тема военных преобразований перешла в обсуждение вопросов внешней политики как реализации сформировавшихся амбиций и завершилась рассказом о Смутном времени. В связи с этим нельзя не отметить невнимание к новгородским событиям, которые продолжают именоваться шведской «оккупацией», пусть и «странной», «допущенной» местным обществом. Здесь говорится, что «соглашение» со Швецией, предусматривавшее восшествие принца Карла Филиппа на русский престол, заключило Второе ополчение (р. 306). Однако «призвание шведа», имевшее существенное значение для новгородцев, исходило от Первого ополчения согласно приговору *Совета всея рати* (18–23 июня 1611 г.). Недавно опубликованные труды Г.А. Замятина, новые исследования А.А. Селина и В.А. Аракчеева о русско-шведских отношениях, «стратегии поведения» местных обществ позволяют по-иному взглянуть на те события и охарактеризовать их как «шведско-новгородский альянс». Такой «бинарно-симбиотический» подход вполне соответствует авторскому видению восточноевропейской истории.

Последняя «фактологическая» глава «Россия первых Романовых: кризисы и достижения. 1613–1689» (р. 309–372) начинается с историографии политического строя «Среднего царства» – в терминологии авторов. Похоже, им близки идеи Х.Й. Торке об «обществе, детерминированном государством», и присущее критическое отношение к Э. Кинану, хотя воспринята его идея «политических культур». Отмечено, что новые концепции, например «народная монархия», идеологизированы, хотя и гипотеза о существовании в России идеи «выборной монархии» кажется чересчур смелой.

Генеральную линию имперской конс-

трукции авторы провели через формирование московской приказной бюрократии и военные преобразования. Важными факторами развития в то время стали религиозные нестроения и протекторат над Украиной, обладавшей особой церковной структурой и культурой. Война 1654–1667 гг. выявила конфессиональную составляющую внешней политики, что обернулось дипломатической изоляцией, и лишь позиция А. Ордина-Нащокина позволила вернуться к прагматизму. В то время (и здесь авторы согласны с З. Вуйчиком) Украина переместилась в центр восточноевропейской политики, а Андрусовское перемирие повернуло казачество лицом к Крыму и Турции.

В анализе реформ последней четверти XVII в. преобладают отсылки к зарубежной историографии, по мнению Гонно и Лаврова, наиболее насыщенной и интересной. Примечательно внимание к спорам петербургской и московской исторических школ о вероятности преобразований в московской среде, причем мнение об их «невозможности» воспринято как результат «петровской пропаганды». Много внимания уделено активной деятельности царевны Софии, причём авторы сопоставили собственные взгляды с выводами Л. Хьюджа, а восстание стрельцов вслед за Г. Федотовым описали как «гражданско-религиозную войну». Государственный переворот 1689 г. привёл к смене структуры власти, когда Боярскую думу не упразднили, а обрекли на вымирание. Одновременно произошел отказ от опоры на провинциальное дворянство, что требовалось для консолидации элиты ради будущих реформ. В целом эти события рассмотрены как просчитанная шахматная партия.

«Факты» продолжают раскрываться в решении «Проблем». Речь здесь зачастую идёт о «закреплении пройденного», как и положено учебнику, но на более высоком уровне и под иным углом зрения. Первая глава «Киевская Русь: единство и многообразие» (р. 375–395) представляет ранний этап развития Восточной Европы как многоуровневую систему с разными скоростями развития. Важным для авторов стал вопрос о наследовании княжеских столов, в чём они во многом соглашаются

с М. Димником, приходя к выводу: преемство определялось соотношением сил при сочетании формализма (право на наследование стола) и прагматизма (реальная возможность его наследовать и удержать). В Восточной Европе тогда отсутствовала «наследственная монархия», поскольку княжества не превращались в феодалы, что не исключало идеи «фамильной» земли. В то же время отмечено возрастание роли и притягательности местных престолов и территориальных княжеств, оттеснивших Киев на второй план. То есть имела место множественность вариантов регионального развития, в связи с чем Гонно и Лавров охарактеризовали особенности ряда восточноевропейских земель и затронули начала Белоруссии, связанные с княжествами в Турове, Пинске и Полоцке.

В целом «хребтом» Руси признана династия Рюриковичей, через образование многих ветвей и утверждение на разных землях сохранившая монополию на власть. Другими моментами сплочения местных обществ стали монгольское нашествие и литовская экспансия, а также культурный и религиозный фактор. В результате авторы присоединились к игре слов, которые С. Франклин и Дж. Шепард нашли для своего «Начала Руси», описывая развитие политической конструкции Восточной Европы: переход от *relative unity* или *unity of relatives* к *relative plurality* (р. 395). Такая эволюция в целом справедлива, хотя разрозненные группы русов X в., номинально объединённые властью киевского архонта, представляли собой очевидное *plurality*, на что как будто бы намекает название книги.

Объединяющим был и тип хозяйства, которому посвящена глава «Сельская экономика» (р. 397–412). Она во многом историографична, а предмет исследования мало изучен, особенно на раннем этапе существования. Отмечая скудость источников, авторы почти сразу перешли к описанию монастырской экономики позднего средневековья, миновав жалованные грамоты XIV–XV вв., где всё же нельзя не заметить элементы условного держания. Отечественный читатель может улыбнуться, прочитав, что трудам по исторической географии в СССР препятствовали «драконовские законы», покрывавшие геогра-

фические карты «военной тайной». Археологи, например, всегда пользовались «генштабовской двухверсткой» 1914 г., сохранившей структуры сельского расселения, исчезнувшие в XX в.

Глава «Города и торговля» (р. 413–438) упоминала торговую теорию происхождения городов, справедливую преимущественно для Севера России, но обошла молчанием богатый археологический материал и почти не затронула альтернативные версии, связанные с развитием сельскохозяйственной округи. Ранние города рассмотрены как торговые и фискальные центры, где власть покоилась на личности князя, а не на городских институтах. Позднее они проявили себя как общины, по территории существенно превосходившие *civitas*. Настоящие пространства обмена начали формироваться уже после монгольского нашествия. В главе уделено внимание внешней торговле как со Степью, продававшей в Московию лошадей (яркий пример – ярмарка XVI в. у стен Симонова монастыря), так и с Ганзой, в отношениях с которой «Немецкий двор» в Новгороде сыграл роль «окна в Европу», повлиявшего на развитие Северной Руси.

Глава «Московское общество на заре Нового времени» (р. 439–479), т.е. на закате средневековья, представила его социальной пирамидой, покоящейся на крестьянах, где крепостная зависимость была лишь одной из форм личной несвободы. Холопство здесь переводится как *esclavage*, что заставляет признать: представители московской элиты в своей массе были рабовладельцами. Крестьянство позиционируется как главный «проигравший» Смутного времени, что закрепило Соборное уложение 1649 г. Для общества тех лет было характерно отсутствие единой социальной идентичности, а различия между центром и периферией государства позволили авторам говорить о «внешней» и «внутренней Московии», что звучит прямо постмодернистски.

В целом социальные процессы не рассмотрены как «нормализация» и протестному движению, одним из двигателей которого были служилые люди, уделено много внимания. Казаки стали проблемой государства, как выражение тенденции социального диссидентства. Однако

в соответствии с мнением В. Кивельсон восставшие и остальной социум исповедовали общие ценности и не находились в идеологическом противостоянии. И те и другие клялись в верности *старине*. В этой связи движению Степана Разина отказано в статусе «крестьянской войны», поскольку значительную роль в нем играли казаки и национальные меньшинства при отсутствии религиозной мотивации.

Новая глава «Время и пространство Церкви» (р. 481–530) вписала её историю в три различных уровня-контекста: собственно географическое, восточноевропейское пространство; православное, связанное со славяно-византийским миром; христианское европейское. Настоящий религиозный раскол Европы, разрыв с «немцами» и «латинами» пришелся не на XI в. и даже не на XIII в. – он вызван Флорентийской унией и падением Константинополя (1439–1453 гг.). Должное внимание уделено процессу деления митрополий, сопряженному с понятием «сепаратизм», а после 1458 г. можно говорить о собственно «Русской церкви», глава которой претендовал на титул митрополита Киевского.

Самостоятельный раздел посвящен православию на территории Речи Посполитой, собственно «Рутенской церкви». В этой истории ученик Исидора, митрополит Киевский Григорий Болгарин неожиданно совместился с патриархом Константинопольским Григорием Мамои (р. 267, 495, 666). Утверждение, что новгородцы непосредственно входили в церковную делегацию, возглавляемую митрополитом Григорием Цамбалаком на соборе 1414 г. в Констанце (р. 490), требует, на наш взгляд, развернутого доказательства: уникальная информация Ульриха фон Рихенталя не дает для этого оснований. В то же время не приходится говорить о том, что Кормчая книга попала на Русь только в XIII в. (р. 484).

Глава продолжается историей появления патриархата в Москве и расколом, чему сопутствует рассказ о развитии епархиальной сети и формировании местного культового «патриотизма». Владычные наместники представлены здесь как *vicaires* и отнесены к священству (р. 510), хотя особенностью русской церковной

администрации была как раз активность светских чиновников. Становление приходской сети связано с феноменом двоеверия, широко отразившемся в представлениях о загробной жизни. В то же время указывается на двусмысленность этого термина, поскольку речь шла о проникновении христианских воззрений в магические практики. Развитию монашества и становлению архимандритий, с подчеркиванием различий Киева от Новгорода, отведено значимое место. Затронут вопрос о церковном имуществе и промышленности, связанной не только с сельским хозяйством, но и с добычей соли.

Раздел заканчивается рассказом о монахах и князьях как «столпах русской святости», о «церковной интеллигенции» – иконописцах, ремесленниках, книжниках, что служит увертюрой к заключительной главе «Культурное наследие» (р. 531–582), где авторы пришли к выводу об открытости древнерусской культурной традиции. Предложенная здесь периодизация (XI–XIII вв. – древнейший период; XIV–XVI вв. – сложение московской литературы; XVIII в. – эпоха барокко и раскола) традиционна. Весьма перспективным является наблюдение, что церковно-славянский язык служил *lingua franca* восточноевропейской элиты вплоть до Нового времени. Подчеркивается (не без влияния Ф. Томсона), что книжные отношения с Византией свелись к восприятию ограниченного числа литературных моделей без их упорядочивания в рамках однородной системы. Отдельно дан общий историографический обзор летописания, включая местные традиции, в который ещё не вошли новые работы А.А. Гippiyуса и Т.В. Гимона. XVII в. был отмечен превращением летописцев в историков в соответствии с западной историографической моделью, однако это не привело к рождению «российского Тита Ливия».

В главе преобладает внимание к литературе – эволюции и умножению жанров, переходу от паломничества к путешествиям, ярким новшествам, таким, как сакральная драма и оппозиционная письменность. Не обошлось и без истории лубка как минимизированного отражения злободневности и народной мудрости, воплощенной «мужичким» языком. В целом

для XVII в. можно увидеть противоречие между неизбежными новациями и самосознанием «православного бастиона», присущим как официальной Церкви, так и старообрядцам.

Издание снабжено хронологической таблицей (р. 589–609), некоторые даты которой, впрочем, не нашли обоснования на страницах книги или же в источниках (почему, например, крещение киевлян отнесено к 27 марта 988 г.?), генеалогическими стеммами, чёрно-белыми иллюстрациями (изображения храмов, иконы), картами городов (р. 611–647). Однако на планах Новгорода, например (р. 630, 631), встречаются названия «современных» улиц, не существующие после топонимической реформы 1991 г. Есть неточности и в топографии пригородных обитателей: Хутынский монастырь оказался к северо-востоку от Антониева, возможно, за недостатком места, а Воскресенский – внутри Земляного города. В конце издания помещены географический (р. 649–659) и именной (р. 661–679) указатели.

В структуре и, как кажется, в замысле книги важную роль играют введение и заключение. Введению предпослан собственный эпиграф Бориса Пильняка к его роману «Машины и волки» (1923–1924 гг.) («Книга о коломенских землях, о волчьей сыти и машинах, о чёрном хлебе, о Рязане-яблоке, о России, Расее, Руси»), подчеркивающий противоречивость и полиморфизм излагаемой истории. Заключение же (р. 583–587) открывается словами из воззвания патриарха Гермогена 1611 г.: «Дотоле Москве ни Новгород, ни Казань, ни Астрахань, ни Псков, и ни которые города не указывали, а указывала Москва всем городом». Казалось бы, как и в названии книги, трансформирующем множество русов в единство России, эпиграф указывает на линейное развитие Восточной Европы. Однако в самой книге наглядно показана разнонаправленность ее истории, которую затруднительно представить как путешествие из *unity* в *plurality*, (ср. р. 395) и обратно, к тому же, по мнению авторов, эту историю нельзя сводить к дилемме «сильное государство или хаос» (р. 584).

К числу ключевых слов книги должно быть отнесено *expansion* во всем много-

образии значений – расширение, распространение, интервенция, рост, ни в коем случае не отождествимые с пресловутым «прогрессом». Развитие многих регионов, чья история связана с Киевом, – Новгорода, Чернигова, Галича и Волыни, Смоленска, Твери, Литвы – демонстрирует удивительный динамизм и консолидацию, сопряженные с богатством исторических возможностей. Здесь угадываются если не альтернативы, то плюрализм, множественность вариантов местных культур и политий, сопряженных не с негативом «феодальной раздробленности», а с позитивом формирования региональных идентичностей. Лишь на исходе средневековья они подверглись унификационным процессам, что не исключало в дальнейшем реактуализации «основного мифа» России, чередующего сотворение кумиров и свержение идолов (с. 587).

В книге присутствует ещё один миф – «коллективное бессознательное» современной историографии. Хронологический финал «1689 год», знаменующий конец допетровской эпохи, для французской культуры является знаковой датой. Ею оканчивалось и историческое полотно выставки «Святая Русь», состоявшейся в Париже в 2010 г. Здесь видится своеобразный «конец истории» в духе Фрэнсиса Фукуямы, ибо Россия в лице государя-реформатора совершила «европейский выбор». Однако, как показала судьба *Bas-Empire russe*, история только начиналась. К тому же авторы доходчиво показали, что «петровские» по характеру реформы начались (или по крайней мере почва для них сформировалась) ещё в допетровскую эпоху. В результате дата, появившаяся под воздействием «петровской пропаганды» (с. 349), оказалась лишь удобным поводом остановить повествование, не вдаваясь в объяснения.

П. Гонно и А. Лавров не только предложили собственную периодизацию

русской истории или её осмысление сквозь избранные проблемы, но и сделали акценты в их интерпретации, расширили «историографический кругозор», поместив Россию в контекст Восточной Европы. В результате примененный в книге имплицитный метод можно охарактеризовать как «модельный подход» к истории, построенный на вычленении культурно-территориальных кластеров, характеризовавшихся динамизмом и консолидацией, сосуществовавших благодаря взаимному допущению региональных особенностей. Развитие таких образований построено на принципе симбиоза. Это явление, увиденное авторами в судьбе Руси и Степи, Новгорода и Ливонии, Москвы и Орды, похоже, не ограничивается бинарными моделями. Его можно расширить на сам факт взаимодействия и взаимовлияния восточноевропейских земель в их многообразии вплоть до позднего средневековья: и в XVII в. некоторые проявления «польско-литовской модели» могли рассматриваться в России как источник для подражания (р. 584). Ещё одно проявление симбиоза – «неизгладимый» религиозно-культурный отпечаток византийско-славянского наследия как часть *Slavia Orthodoxa*. По мнению авторов, интенсивность «культурооборота» с Балканским миром обесценивает разговоры об «интеллектуальном молчании» Древней Руси и ее «отсталости» (р. 586).

Перед нами своеобразная «энциклопедия средневековой Восточной Европы», крайне необходимая франкоязычным читателям и задающая новую планку отечественным исследователям. Она стала не только своеобразным итогом развития французской науки о средневековой Восточной Европе, но и отправной точкой будущей дискуссии (а это и есть *pia desideria* любой научной мысли!), где у парижской русистики есть перспективы стать лидером.